

Александр Грин

Автобиографическая повесть



Александр Грин

Автобиографическая повесть

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=273912
Алые паруса: Эксмо; Москва; 2001
ISBN 5-04-007983-4

Аннотация

Грин в своей последней законченной книге занят не столько автобиографией, сколько анализом самого типа формирующейся творческой личности романтика.

«Вся “Автобиографическая повесть” построена на контрасте между “идеальными”, романтическими представлениями о жизни и её суровыми реальными картинами, которые изображаются с натуралистической беспощадностью...»

Содержание

Бегство в Америку	4
Охотник и матрос	10
Одесса	19
I	19
II	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Александр Грин

Автобиографическая повесть

Бегство в Америку

Потому ли, что первая прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» – детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, – но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет.

Я читал бессистемно, безудержно, запоем.

В журналах того времени: «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» – я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте.

После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского – моего дяди по отцу – в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках; но было порядочно книг и на русском.

Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал.

Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием.

Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению Средних веков. Я мечтал открыть «философский камень», делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил.

Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли.

В книгах «для взрослых» я с пренебрежением пропускал «разговор», стремясь видеть «действие». Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жаколь были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах.

Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе.

По истории, закону божью и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, – двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением походов капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» – «Нет, я не получил яблока, но я имею собаку и кошку», – я знал только два слова: копф, гунд, эзель и элэфант. С французским языком дело было еще хуже.

Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения.

Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память.

Учителя говорили:

– Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он... озорник, сорванец, шалун.

Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час»; этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда.

Одетый, с ранцем за спиной, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.

Смертельно голодный, я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал наконец обед.

Дома меня ставили в угол, иногда били.

Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку – то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками!»

Немец, высокий, элегантный блондин, с надвое расчесанной бородкой, краснел как девушка, сердился и строго говорил: «Гриневский! Выйдите и станьте к доске».

Или: «Пересядьте на переднюю парту»; «Выйдите из класса вон» – эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя.

Если я бежал, например, по коридору, то обязательно натыкался или на директора, или на классного наставника: опять кара.

Если я играл во время урока в «перышки» (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отделивался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда.

Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как *годовая* отметка поведения. Из-за нее я был исключен на год и прожил это время, не очень скучая о классе.

Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал.

Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.

На дворе я расставлял стоймя поленья шеренгами – и издали поражал их камнями, – в битве с не ведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками. Перед моими глазами, в воображении, вечно были – американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка.

Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томи-тельно желанной действительностью.

Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы.

Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня – никогда.

На десятом году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо.

Я начал целыми днями пропадать в лесах; не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью, «отпустят» или «не отпустят» меня сегодня «стрелять».

Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов.

Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда.

Кроме того, я был запойным удильщиком – исключительно по *шекле*, вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху; собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги.

По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год.

Меня погубили: сочинительство и донос.

Еще в приготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе, от третьего до седьмого, заставляют читать свое произведение.

Это были мои стихи:

Когда я вдруг проголодаюсь,
Бегу к Ивану раньше всех:
Ватрушки там я покупаю,
Как они сладки – эх!

В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки, но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его «ватрушками».

Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря: «Что, Гриневский, ватрушки сладки – эх?!!»

В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), срисовал в него несколько картинок из «Живописного обозрения» и других журналов, сам сочинил какие-то рассказы, стихи – глупости, вероятно, необычайной – и всем показывал.

Отец, тайно от меня, снес журнал директору – полному, добродушному человеку, и вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря:

– Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались, чем шалостями.

Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения.

Меня дразнили двумя кличками: Грин-блин и Колдун. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.

В общем, меня сверстники не любили; друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван и классный наставник Капустин. Его же я и обидел, но это была умственная, литературная задача, разрешенная мной на свою же голову.

В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых» и захотел подражать.

Вышло так (я помню не все):

Инспектор, жирный муравей,
Гордится толщиной своей...
.....
Капустин, тощая козявка,
Засохшая былинка, травка,
Которую могу я смять,
Но не желаю рук марать.
....
Вот немец, рыжая оса,
Конечно, – перец, колбаса...
.....
Вот Решетов, могильщик-жук...

Упомянуты, в более или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег.

Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал Колдун. Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский, поляк, сын пристава, однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока.

Две недели тянулась злая игра. Маньковский, сидевший рядом со мной, каждый день шептал мне: «Я сейчас покажу!» Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок; многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством, просили Маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим.

Каждый день повторялось одно и то же:

– Гриневский, я сейчас покажу...

При этом он делал вид, что хочет поднять руку.

Я похудел, стал мрачен; дома не могли добиться от меня – что со мной.

Решив наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдась позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых (между прочим, чувства ложного стыда, тщеславия, мнительности и жажды «выйти в люди» были очень сильны в глухом городе), я стал собираться в Америку.

Была зима, февраль.

Я продал букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались; когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «сейчас подам», поднял руку и сказал:

– Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского.

Учитель разрешил.

Класс притих. Маньковского со стороны дергали, щипали, шипели ему: «Не смей, сукин сын, подлец!» – но, аккуратно обдернув блузу, плотный, черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок; скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел.

Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.

– Гриневский!

Я встал.

– Это вы писали? Вы пишете пасквили?

– Я... Это не пасквиль.

От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: «Я погиб».

– Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.

Я вышел плача, не понимая, что происходит.

Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут.

Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича; лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату – в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками.

За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит.

– Гриневский, – сказал, волнуясь, директор, – вот вы написали пасквиль... Ваше поведение всегда... подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только добра...

Он говорил, а я ревел и повторял:

– Больше не буду!

При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных – он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор.

Только инспектор – мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник – не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков.

Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору.

Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду – так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка; дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес.

Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал: мне предстояло идти в Америку.

Голод взял свое – я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме, в ранце, с гербом на фуражке!

Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развertyвался вокруг. Ели и снег, ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега. Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела – теперь смутно почувствовал я истину жизни: необходимость знаний и силы, которых у меня не было.

Когда я пришел домой, было уже темно. Охо-хо! Даже теперь жутко все это вспоминать.

Слезы и гнев матери, гнев и побои отца; крики: «Вон из моего дома!», стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера; каждый день пьяный отец

(он сильно пил); вздохи, проповеди о том, что «только свиней тебе пасти», «на старости лет думали, что сын будет подмогой», «что скажут такие-то и такие-то», «тебя мало убить, мерзавца!» – вот так, в этом роде, шло несколько дней.

Наконец буря утихла.

Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.

Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.

Меня исключили.

В гимназию меня отказались принять. Город, негласно, выдал мне уже волчий, неписанный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день.

Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища.

Охотник и матрос

Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском; тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александрова. Мать стала учить меня азбуке; я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова.

Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, – крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:

– Саша, давай читать. Это какая буква?

– М.

– А эта?

– О.

– Верно. Как же сказать их сразу?

В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».

Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, – и так начал читать.

Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.

Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.

Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» – я одно время страшно завидовал; щедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.

По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.

Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.

В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.

Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокрушительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.

Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».

Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные

рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами... Лучшее всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

– Постыдитесь, – увещевал он галдящую и скачущую ораву, – гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища... Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – и бегут в гимназию кружным путем.

Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. – Вятская гимназия – литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разбитый урыльник!» (А. В. Р. У. – литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.

Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.

С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, – путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.

Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.

Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая – в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.

Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.

Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.

Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане – ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!
Вот он, маменькин сыночек,
Шалопай – зовут его;
Словно комнатный щеночек, —
Вот занятие для него!

Философствуй тут как знаешь,
Иль, как хочешь, рассуждай, —
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):

И хвостом она махнула
И сказала: не забудь!

Я ничего не понимал, но ревел.

Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.

Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже... Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после Петрова дня – 29 июня, – начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.

К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.

Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.

Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь – босиком.

По-прежнему добычей моей были кулики разных пород: черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка – водяные курочки, утки.

Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье – одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самым способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.

Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.

Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.

Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом», маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.

В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытываемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром, чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.

У первого моего ружья был очень тугий курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сва-

ливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.

Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняясь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку.

Предоставляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать – стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль.

Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при зарядании – на глаз, без мерки; дробь лежала в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь – например, крупный, № 5, шел и по кулику и по воробыиной стае или, наоборот, мелкий, как мак, № 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая.

Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно.

Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги.

Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу.

Впоследствии, в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там.

Об этой одной из интереснейших страниц моей жизни я расскажу в следующих очерках, а пока прибавлю, что только раз я был доволен собой вполне – как охотником.

Меня взяли с собой на охоту взрослые молодые люди, бывшие наши квартирные хозяева, братья Колгушины. Уже темной ночью мы возвращались с озер к костру. Вдруг, побрякивая, свистнула крыльями утка и, плеснув по воде, села на небольшое озерко, шагах в тридцати.

Вызвав смех спутников, я прицелился на звук плеска севшей в черной тьме утки и выстрелил. Слышно было, что утка забилась в камышах: я попал.

Две собаки не могли найти мою добычу, чем даже сконфузили и рассердили своих хозяев. Тогда я разделся, полез в воду и, по горло в воде, разыскал убитую птицу по смутно чернеющему на воде ее телу.

Время от времени мне удавалось зарабатывать немного денег. Однажды земству понадобился чертеж одного городского участка с строениями... Отец устроил этот заказ мне, я ходил по участку с рулеткой, потом чертил, испортил несколько чертежей, наконец, с грехом пополам, сделал, что нужно, и получил за это десять рублей.

Раза четыре отец давал мне переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений, по десять копеек с листа, на этом деле я тоже заработал несколько рублей.

Двенадцати лет я пристрастился к переплетному мастерству, сам сделал станок для сшивания; роль пресса играли кирпичи и доска, кухонный нож был обрезальным ножом. Цветная бумага для переплетов, сафьян для углов и корешков, коленкор, краски для обрызгивания обреза книги и книжечки фальшивого (сусального) золота для тиснения букв на корешках – все это я приобретал постепенно, частью на деньги отца, частью на свои заработанные.

Одно время у меня было порядочно заказов; будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать пятнадцать-двадцать рублей в месяц, но старая привычка к небрежности, поспешности сказалась и здесь, – месяца через два моя работа окончилась. Я переплел около ста книг – в том числе тома нот одному старому учителю музыки. Мои

переплеты были неровны, обрез неправилен, вся книга вихлялась, а если не вихлялась по шитву, то отставал корешок или коробился самый переплет.

Ко дню коронации Николая II в больнице готовили иллюминацию, и мне, через отца, сделан был заказ на двести бумажных фонарей из цветной бумаги по четыре копейки за штуку, с готовым материалом.

Усерднейшим образом я работал две недели, изготовив, по обычаю своему, не очень важные изделия, за что получил восемь рублей.

Ранее, когда мне случалось заработать рубль-два, я тратил деньги на порох, дробь, зимой – на табак и гильзы. Мне разрешено было курить с четырнадцати лет, а тайно я курил с двенадцати, хотя еще не «затягивался»! Затягиваться я начал в Одессе.

Получение этих восьми рублей совпало с лотереей-аллегри, устроенной в городском театре. В оркестре были расставлены пирамиды вещей, как дорогих, так и дешевых. Главный выигрыш, по странному направлению провинциальных умов, был, как водится, корова, наравне с коровой шли мелкие драгоценности, самовары и пр.

Я пошел играть, вскоре туда же явился подвыпивший отец. Я проставил на билеты пять рублей, беря все пустые трубочки. Капитал мой таял, я загрустил, но вдруг выиграл диванную бархатную подушку, расшитую золотом.

Отцу повезло: проставив сначала половину жалованья, он выиграл две брошки, рублей, скажем, на пятьдесят.

До сих пор не забыть мне, как к колесу подошла дурная, как грех, девица, взяла два билета, и оба они оказались выигрышными: самовар и часы.

Я забежал вперед, но надо было сказать все о моих заработках. Поэтому я добавлю, что в последние две зимы жизни дома я подрабатывал еще перепиской ролей для театральной труппы – сначала малороссийской, затем драматической. За это платили пять копеек с листа, записанного кругом, и я писал не убористо, а возможно разгонистее. Кроме того, я пользовался правом бесплатного посещения всех представлений, входа за кулисы и игры на выходных ролях, где надо, например, сказать: «Он пришел!» или «Хотим Бориса Годунова!»

Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве – точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати-пятнадцати лет.

Для своего возраста я начал недурно рисовать с семи лет, и мои отметки по рисованию всегда были 4–5. Я хорошо копировал рисунки и сам научился писать акварелью, но это были тоже копии рисунков, а не самостоятельные работы, всего два раза я сделал акварелью цветы. Второй рисунок – водяную лилию – я увез с собой в Одессу, а также взял краски, полагая, что буду рисовать где-нибудь в Индии, на берегах Ганга...

В городском училище я учился посредственно, был на плохом счету как озорник, хотя и там, кроме возни, драк, непослушания и подсказывания, ничего особенного не творил. Мне хорошо давались лишь словесность, история, закон божий и писание сочинений. Наш класс вел добрейший человек, фамилию которого я, к сожалению, забыл; впоследствии он стал инспектором Глазовского городского училища.

Только по возрасту и росту я просидел последний год на задней парте, – остальное время, чтобы я всегда был на виду, меня держали на передней парте, прямо перед столом учителя.

Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому, очень часто, на вопрос: «Кто знает?» – я, подняв руку, звучал как энциклопедия. Учитель любил меня, но, любя, преследовал строже, чем других, и без стеснения посылал к доске, если замечал,

что я хихикаю с кем-нибудь или под партой толкаюсь ногами со своим обидчиком (я никогда не начинал первый).

Одно мое сочинение на тему «Мой любимый уголок» учитель читал вслух всему классу как образец. Я описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьем и хлебом. Другой раз была задана тема: «О пользе собак». Я написал «о вреде собак» (хотя думал иначе), доказывая, что случаи водобоязни во всем мире перевешивают пользу собак для эскимосов, охотников и хозяев стад. Учитель начертил единицу, приписав: «Написано отлично, но не на тему». Это сочинение тоже было «опубликовано», и я видел, что учитель втайне гордится этой моей эскападой.

В пятом отделении, по странной прихоти, я написал для себя статью: «Вред Майн Рида и Густава Эмара», в которой развивал мысль о губительности указанных писателей для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незавиднее кажется дом, участь бедняка.

Собрав после классов несколько человек слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели; тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, — я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях.

В четвертом отделении случился выстрел: я имел глупость принести с собою в класс пистолет, собственноручно сделанный из солдатского патрона, заряжаемый порохом, дробью и воспламеняемый бумажным пистоном; я его держал в парте, трогая стальную пластинку с гвоздиком, заменяющую курок, — как вдруг курок сорвался, гром выстрела едва не сбросил учителя со стула; пошел дым столбом — и все повскакали.

За это художество меня со сторожем и запиской об исключении на две недели отправили домой.

Я ревел, просил прощения, отец стегал меня ремнем, ходил к инспектору и с трудом уладил дело, так что через три дня я опять сидел на последней парте.

В шестом отделении произошел случай посерьезнее. Хороший учитель уехал в Глазов, а его место занял новый, ранее не служивший, Алексей Иванович Терпугов. Это был крайне желчный, истеричный человек, измученный невралгией и ненавидевший учеников до того, что, забывшись, кричал на них и топал ногами.

Чем-то я провинился во время урока — кажется, разговаривал.

— Гринеvский! — крикнул мне Терпугов. — Помяни мое слово, что не миновать тебе скамьи подсудимых!

Разговаривая с соседом, я в то же время потихоньку ел принесенного с собой на завтрак рябчика. Я встал и запустил рябчиком в Терпугова. Рябчик шлепнулся о вицмундир и упал на пол.

Терпугов оцепенел. Он так побледнел, что и я испугался. Учитель сдавленным голосом приказал мне выйти вон.

Весь дрожа, со слезами обиды и гнева, я, выйдя, немедленно направился домой и рассказал отцу, что случилось.

Первый раз произошло, что отец меня не бранил (меня как большого он теперь не бил). Походив взад-вперед, отец направился к инспектору. Возник вопрос о моем исключении, но все же инспектор Деренков и другие признали неправоту в этом деле Терпугова.

Дело, после двух недель моего домашнего пребывания, кончилось формальным извинением с моей стороны.

После этого я кончил наконец училище без инцидентов и, получив аттестат (средняя отметка — 3, по поведению — 5, ради того, чтобы не портить мне жизнь), я начал собираться в Одессу.

Теперь я расскажу, с чего это началось.

Отчасти очень дальними родственниками по матери – а больше просто знакомыми – приходились нам Чернышевы. Отец Чернышев был протоиерей кафедрального собора. У него был сын – Сережа, двумя или тремя годами старше меня, тихий, малоспособный мальчик; исключили его за неуспешность или же сами родители взяли из семинарии – точно не помню. Только в один прекрасный день я узнал, что Сережа отправился в Одессу, поступил в Херсонские мореходные классы и совершил кругосветное путешествие.

Торжествующие родители показывали цветную фотографию. На ней был изображен молодой моряк, одетый в форму матроса; на ленте бескозырной фуражки можно было прочесть: «Императрица Мария». Ленты падали от затылка через плечо на грудь. Полосы клинообразно выступающего из-за голландки с синим воротником тельника долгое время не давали мне покоя; я все решал – есть ли это часть рубашки или же это надевается особо, как галстук. Довольно сказать, что я никогда не видел такой одежды и положительно влюбился в нее, особенно в ленты, которые, при открытой шее и бескозырьковой фуражке, придавали открытому, мужественному лицу Сережи особый поэтический оттенок. Но, главное, я увидел возможность практического решения задачи путешествий, причем Чернышев еще получал жалованье!

Кроме того, аттестата городского училища было достаточно для поступления в Мореходные классы без всякого экзамена.

Отец однажды взял меня с собой к Чернышевым, и мы выпытывали у них все, что они знали о своем сыне. Немного я приуныл (вопрос шел о том, где остановиться в Одессе и много ли надо на поездку денег), когда мать Сережи сказала, что сыну они дали сто пятьдесят рублей, наказав остановиться в хорошей гостинице, и что продолжали посылать ежемесячно по двадцать пять рублей, пока Сережа не начал получать жалованье рулевого матроса – двадцать два рубля с копейками на всем готовом. Теперь он плавал уже в Добровольном флоте на «Саратове», был в Японии, Китае, Сингапуре... Сингапуре!..

Я сидел подавленный и взволнованный. Ведь я до сих пор только мечтал, тогда как Чернышев с легкостью, как мне казалось, необычайной, без шума и треска сделался моряком дальнего плавания.

Чернышевы, между прочим, говорили, что Сережа «лазил на мачты». Не зная устройства вант, я был очень встревожен, так как по гимнастическим столбам всползал плохо, а лазанье на мачты представлялось мне именно карабканьем по толстому голому столбу.

Относительно мачт меня через некоторое время просветил другой Чернышев, брат моего одноклассника Чернышева, тоже выставленного из реального училища мальчика (за неуспешность); он одно время учился в Астраханских мореходных классах и плавал на парусных судах; я понял назначение вант, и страх перед мачтами прошел. Но этот Чернышев не был для меня настоящим моряком: он плавал в *закрытом* море, был неуклюж, неприятно широкоплеч, черен, болезненно красив и туп; в довершение всего поступил на службу в акциз.

Я старался, где мог, узнать о море, о морской службе. Одно время к деревенской девице, нашей прислуге, ходил на кухню ее брат; он же колол нам дрова. Этот парень был матросом в Одессе. О Мореходных классах он ничего не знал, и я разочаровался, потому что этот человек не понимал меня. Меня интересовали впечатления далеких стран, бурь, битв с пиратами, а он говорил о пайке, жалованье и дешевизне арбузов.

Весной 1895 года я увидел в жаркий день на пристани извозчицью «долгушу»; на ней, небрежно развалясь, сидели, обложенные чемоданами, два штурманских ученика в белой матросской форме. На ленте одного написано было «Очаков», на другой – «Севастополь». Загорелые, беспечные лица юношей, грызших семечки, привлекали внимание прохожих. Я

остановился, смотрел как зачарованный на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира.

Я не завидовал. Я испытывал восхищение и тоску. Так я и не узнал, приезжали ли эти молодые люди в гости к кому-нибудь или домой, – я больше их не видел.

Немного погодя прошел слух еще об одном моряке, явившемся домой на время; это был молодой, коротко стриженный, белесый человек серьезного типа: он одевался в штатское (особый английский шик, как я узнал позже) и курил трубку.

Отец узнал его адрес, и, страшно стесняясь, я посетил моряка; когда я пришел, он стоял у калитки; тут же мы и поговорили. Его фамилии я не помню. Ничего особенно нового я не узнал. Моряк считал парусные суда лучшей школой, был в каботаже (то есть плавал внутри Черного моря) и рассказывал, сколько для практики надо выплывать за время учения – что-то года полтора, кажется.

Я видел, что он смотрел на море как на работу, а не как на героическую поэзию, и отвернулся от него сердцем своим.

Весной 1896 года приехал в гости домой Сережа Чернышев.

Мачеха, ставшая добрее, так как предвиделся мой скорый отъезд, и отец не раз уговаривали меня сходить к Чернышевым, чтобы поговорить с Сережей, но я ни за что не хотел – и не мог. Сам себе казался я таким ординарным, жалким, в своей серой блузе с ремнем, длинными, зачесанными назад волосами и узкими плечами, что не мог предстать перед блистательным существом в фуражке с лентой, да еще проделавшим кругосветное путешествие.

Чтобы понять это, надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту атмосферу напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке.

Под разными предлогами я отказался идти.

Чернышев приехал с товарищем, земляком; я очень удивлялся, когда младший из братьев Колгушиных, воспитанник сиротского земского дома, слесарь и силач, говорил мне: «Вот, приехали эти жулики-флотчики!..» Конечно, это была зависть, но я не понимал, как можно, даже из зависти, так говорить о прекрасных детях моря.

Потом я слышал, что «флотчики», напившись в загородном саду, с кем-то жестоко дрались у городской черты, но это лишь прибавило мне восхищения: моряки *должны быть* непобедимы.

21 июня отец, получив жалованье, дал мне двадцать пять рублей на дорогу. Больше он дать не мог. От умершей матери остался маленький Борис; прибавились: Павел, мачехин сын, и, от нее же, новый ребенок, мальчик.

Из этих денег я купил за шестьдесят копеек ивовую корзинку, на сорок копеек табаку и гильз. В корзинку мне положили немного белья, мыло, серые ученические брюки из полубумажной материи, такую же курточку, а на мне были парусиновые блуза и брюки. В соломенной дешевой шляпе и тяжелых, до колен высотой, охотничьих сапогах, я собрался ехать в Одессу. Я был в чрезвычайном волнении. До сих пор, если не считать Слободского, я не покидал Вятки, а тут предстояло уехать за две тысячи верст. Множество раз в день я доставал из кармана свой старый кошелек и пересчитывал синие ассигнации с мелочью; я казался себе миллионером.

Двадцать третьего отходил пароход в Казань в двенадцать часов дня. Перед отправлением на пристань собрались меня провожать сестры, мачеха, маленькие брат и Павел. Настроение было торжественное. Отец сказал:

– Надо присесть...

Присели в молчании. Потом отец встал, сказав:

– Ну, вот и вылетела птичка из гнезда.

Я видел, что он скрывает слезы.

– Ну, Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся на себя и свои силы, помни, что я тебе уделить ничего не могу. Пиши обо всем.

– Да, завидная участь, – сказала мачеха, – увидеть чужие страны, увидеть... много чего такого. – Она простилась со мной довольно тепло.

Девочки ревели. Младший брат, Борис, тоже начал голосить.

Я с отцом сели на извозчика и через полчаса были на пристани. На дорогу мне дали разной провизии, чаю, сахару, стакан и жестяной чайник. Снеся на нижнюю палубу корзинку и одеяло с подушкой (ехал я третьим классом), я взял в кассе билет, а через минуту уже начали убирать сходни.

Я пошел вверх, стал у поручня. Пароход заворачивал на середину течения. Я долго видел на пристани, в толпе, растерянное, седобородое лицо отца, видел, как он шурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди пароходной толпы.

Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я, с сжавшимся сердцем, пошел вниз.

Был я и смятен и ликовал. Грезилось мне море, покрытое парусами...

Одесса

I

До шестнадцати лет я никогда не покидал Вятку. Мое первое самостоятельное путешествие было рядом мелких колумбиад, открытий и наблюдений. Три дня пути до Казани я рассматривал как неопределенно долгий срок, в течение которого я успею вдоволь насладиться движением по реке, сменой берегов и пристаней, мерным содроганием парохода, шумом колес. Я был счастлив уже тем, что еду.

Просунув голову в окно машинного отделения, я изучал движения блестящих частей машины, сильную круговую наддачу рычагов, бесшумное трение эксцентриков, возню внизу, у катка, замасленных кочегаров; иногда один из них влезал наверх и лил из масленки желтое масло на горячую сталь машины. Перегнувшись через борт, я смотрел на красные лопасти колеса, бьющего воду на отгоняемый им пенистый бугор; я всходил на верхнюю палубу, интересуясь действиями рулевого и лоцмана, любовался бегом дыма паровой трубы и фонтаном пара, вырывающегося из свистка. Когда на пристанях грузили кладь, я любил стоять у трюма, смотря, как летят вниз, по катку, рогожные тюки и деревянные ящики. Однако все эти явления интересовали меня, по преимуществу, *зрительно*, и я не помню случая, чтобы я спрашивал кого-нибудь об их технике, об их связи между собой, об их природе.

Я только смотрел и запоминал.

Когда мы проехали двести верст, пароход остановился у так называемого «переката» (песчаный нанос), потому что сел на мель. Команда работала целый день, заводя якорь и крутя ворот, но стащить пароход не удавалось. Я видел песчаное дно не глубже чем на три четверти аршина. Наконец снизу показался пароход из Казани, и оба парохода обменялись пассажирами, а также грузом, – тот, на котором я ехал из Вятки, пошел обратно, в Вятку, а пароход из Казани повернул в Казань. Пройти перекат не удалось ни тому, ни другому. С большими усилиями наш пароход приблизился к берегу; положили сходни, и пассажиры перетаскивали свой груз на себе; многим помогали матросы – вятские бородатые мужички в синих матросках и кожаных картузах.

Я помещался на нижней палубе, между кормой и машиной, на люке трюма, где было свалено много багажа; в гнездах этого багажа ютились третьеклассные пассажиры, мест не хватало на всех. Несколько раз в день я брал чай – в фаянсовом чайнике, с лимоном и мелко наколотым сахаром; чашка была синяя с золотым краем. Чаепитие стоило семь копеек. Чай заменял мне обед и ужин, потому что почти на каждой пристани я покупал снедь. Первый раз в жизни я тратил деньги самостоятельно и свободно. Я покупал так называемые «ярушники» – плоские овсяные хлебцы, «сушку» (сухие баранки), землянику, горячие пельмени, белый хлеб с изюмом, верхняя корка которого, смазанная яичным белком, блестела, как масляная, куски печенки, колбасу, берестяные бурачки с густыми сливками, молоко, пряники, жареную рыбу и некоторое время страдал расстройством желудка.

Утром, на пятый день плавания, я приехал в Казань. Город отстоит от Волги в пяти верстах, поэтому я не отправился осматривать город, а немедленно купил билет на пароход компании «Кавказ и Меркурий» до Нижнего Новгорода; перенес свою поклажу на пристань, сдав ее хранить сторожу, а сам отправился бродить вдоль пристаней и встретил несколько молодых жуликов, один из которых, заступив мне дорогу, начал кричать: «Ваня, дорогой! Как ты сюда попал?» Я был все же не настолько глуп, чтоб поддаться такой общительности, и послал мошенников к черту. Испив в береговом трактире чаю, я купил удочку, сел с ней на берег грязной речки Казанки и пытался удить рыбу, но ничего не поймал.

Я засунул удочку в штабель бревен и, захватив вещи, поехал с ними на извозчике на вокзал.

Я заплатил за билет до Одессы двенадцать рублей восемьдесят копеек и перешел несколько путей, чтобы сесть в поезд. Когда извозчик подъезжал к вокзалу, я увидел низко над землей два огненных глаза, силуэт трубы, услышал пыхтение, стук и догадался, что это есть тот самый паровоз, о котором я до сих пор лишь слышал и читал в книгах. Паровоз показался мне маленьким, невзрачным, я представлял его с колокольною высотой. Так же впоследствии был я удивлен разрешением долго мучившей меня загадки вагонных ступенек. В одном из еженедельников я увидел как-то иллюстрацию – рисунок зимнего поезда; по тому, что рельсы были закрыты ступеньками и выступами вагонов, я решил, что ступеньки – это полозья для скольжения поезда зимой по снегу.

Поезд отошел в одиннадцать вечера, народу было мало. Момент отхода сильно взволновал меня. Все было ново: не то все кружилось вокруг, не то мчалось вперед; частый стук рельсов, новая обстановка, воображаемая неимоверная быстрота и боязнь крушения долго не давали мне спать. В эту ночь я еще не открывал дверь вагона, чтобы *смотреть*, – не решался; но в дальнейшем я, главным образом, сидел на площадке, свесив наружу ноги. Удивительно, как не украли мою корзину и одеяло!

О Москве я слышал, что это город тупиков и зевак. Пока стоял поезд, я немного ходил по прилегающим к вокзалу улицам, удивляясь величине домов, выложенных цветными изразцами, шуму и движению. Действительно, я зашел в какой-то тупик, чем был очень доволен, но зевак, собирающихся будто бы толпами глазеть на крышу, если хотя один человек начнет смотреть вверх, не видел. В сравнении с тихой, мнительной и тщеславной Вяткой («выйти в люди», «быть как все», «построить пальто, костюм») мир шумных, энергичных, развязных и торопливых людей нагонял на меня робость; почти в каждом человеке я видел жулика.

Побродив около часа, я возвратился в вагон.

Теперь мне предстояло проехать до Одессы два дня и две ночи.

II

Тогда уже определенно сказалась природная беспечность моя: с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что «еду на море». На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше.

В Киеве сел к нам странный, подозрительный человек лет тридцати, с острой бородкой, в панаме и чесучовом костюме и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты.

По его развязности, количеству брелоков и вообще беспечной летней щеголеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий.

Поговорив с пассажиром (жулик расспрашивал меня, что я хочу делать в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и т. д.), я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной грудami багажа, и шепотом сообщил ей, что с нами едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции.

Между тем ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же вытащив карандаш, конверт и бумагу, мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову, в Карантинное агентство Р. О. П. и Т.

– Хохлов, Николай Иванович, знаком со многими капитанами; он может тебя устроить, – сказал мазурик. – Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо.

Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил; однако письмо взял. Кроме недоверия, мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие; я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала меня мальчиком, я же считал себя взрослым.

Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый мазурик состоит управляющим крупной мануфактурой фирмы Пташникова в Одессе. Забыв его фамилию, назову этого человека «Кондратьев». Он вышел на большой станции, вскоре после письма; на этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик Херсонских мореходных классов – лет девятнадцати; он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или *учеником*. Как я узнал от него, для поступления в Мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания; невыгода плавать учеником была очевидна, так как *ученик* плавал без жалованья, платя за «харчи», то есть продовольствие, восемь-девять рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос.

Я не сомневался, что поступлю платным матросом. Я казался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул – но страшно вспыльчив и нетерпелив.

Моего знакомого звали Малецкий; этот невысокий, коренастый шатен был одет в синюю матроску и «майские», то есть белые, брюки, а фуражку он носил с козырьком, морского типа, – черный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником (пусть даже при белых брюках) и бескозырьковую фуражку с лентой. Малецкий многое рассказал мне о плавании, научил, как искать работу: взойдя на пароход, осведомиться у старшего помощника: «нет ли вакансий», а если этот спросит: «где раньше плавал?» – сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно.

Мы уговорились снять вместе помещение и, приехав в Одессу, отыскиали с помощью извозчика какое-то «Афонское подворье», где взяли грязнейший номер за шестьдесят копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно-знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти – увидеть наконец море; не ев, не пив, отправился я на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – все было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление: морская чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал; я думал, что морская даль тянется значительно *дальше*.

Было так знойно, так утомительно вокруг, так все ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать улицы, причем выходил пять или шесть часов.

Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, затем захотел выйти; видя, что я, как это делали иные, хочу прыгнуть на ходу вагона в обратную движению сторону, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем дело, не послушался; естественно, эффект был плачевный: затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания.

Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерибасовской, Ришельевской, удивляясь завитым зеленью террасам кафе, вынесенным на тротуар, магазинам с огромными окнами из цельного стекла; подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, горами серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель, рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные вещей из резной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия. Кокосовые орехи, мангустаны, ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида – модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар... словом, я пересмотрел все, спускался даже по Ланжероновскому спуску к портовым грязным лавчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. А в кармане моем было два рубля тридцать копеек.

Как был я легкомыслен, вернее – беспечен тогда, таким остался я и теперь. Памятуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешевого красного вина за сорок копеек (тогда я еще не знал о существовании винных погребок, где мог бы выпить кварту за двадцать копеек) и десяток сигарет, воняющих каленым копытом; еще купил полфунта сала, маленький пеклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался кутежу; к вечеру у меня адски заболела голова. Между тем пришел Малецкий, сообщив, что

поступил на пароход Российского общества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся, а я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара.

Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой «Дюковской лестницы» в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу, но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным – чужим.

У высокого, как дом (так казалось), парохода «Петр» я остановился, вздохнул и поднялся по длинной сходне на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом – эти высшие существа, *свои* пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» – выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях, – кажется, «поповская шляпа», «семинарист», что-то в этом роде; задеты были и мои болотные сапоги, до бедер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал наконец от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно – в ученической курточке, – надежды попасть матросом нет никакой. «Учеником я вас возьму», – слышал я уже на другой день ответы, равные отказу, потому что у меня не было денег.

Пришибленный, я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в Карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была десять копеек за сутки. Здесь жили человек пятнадцать; спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег тридцать копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого – одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дрянненький пароход.

Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одессу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в крытом правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на Ялту или Яффу – неясно я знал это.

Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря: «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни шестнадцати будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, и я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня проносило с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил, лишь узнал, что это сцены будущих шестнадцати лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился.

При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного, кроме того, что, узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне.

Единственный для меня способ достать денег был таков: продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за все двенадцать-пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношенные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать-пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».

На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, – знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной, в кучах мусора, жили «дикари» – окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.

Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения: босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.

Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.

Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.

Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет»; другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота: «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие – приваливали к соседнему с Карантинным молу. Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда – плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо-безвкусной окраски: голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались в их очертаниях. Под бугшпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и непутов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шкун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, – я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.

Здесь был мир иностранных грузовых пароходов – огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и темного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев горсть белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил: мне было, должно быть, совестно – совестно объяснить знаками голод.

Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и товарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом дуговые фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков: «Вира! Майна! Хабарда! (берегись!)»; полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками». Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани – камня, угля, железа, морской воды и нечистот – резко возбуждали меня.

Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно

было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать.

С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население: грузчики, поденщики, босяки – с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные – в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками сверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов; таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» – кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.

Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.

По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими *массивами* – кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня – саженой длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.

Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену. Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов; едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как – даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, – убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед. Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.